

Посвящение

Наверное, природа в силу своих законов, а именно: ветров, холодов, палящего солнца и частых затяжных дождей,—формирует стойких людей в борьбе за выживание. Тогда под влиянием красоты и буйства природы формируются характеры людей: воля, смелость, настоящая дружба и настоящая любовь.

Наш посёлок Усть-Баргузин расположен на берегу славного озера Байкал. Жители нашего посёлка—добрые, приветливые люди. В основном здесь проживает трудовой народ: рыбаки, охотники, лесорубы, научные работники, изучающие флору и фауну Байкала, а также школьники и пенсионеры. Местные жители никогда Байкал не назовут озером. Вас же они вежливо поправят: Байкал—море... Байкал—бабушка, кормилец. Байкал строг, могуч и глубок. Байкал может обидеться и не даст рыбы или заберёт к себе как дань. Поэтому местные люди здесь говорят: «ушёл в море», «пришёл с моря», «утонул в море», «шторм на море».

Вот так это будет по-местному. И даже не пытайтесь поправлять—море, и всё.

Наш посёлок расположен в низовье Баргузинской долины, там, где впадает река Баргузин в Байкал. Посёлок расположен в устье реки Баргузин, поэтому и носит название Усть-Баргузин. Река и тайга—невиданной красоты.

До Октябрьской революции здесь была фактория купца Куппера: добывали золото старатели на купперовских рудниках, добывали пушнину чёрного баргузинского соболя, ловили омуля, сплавливали лес—всё это скупал за бесценнок хозяин Куппер. Местные люди—буряты, тунгусы, якуты, русские поселенцы, беглые каторжане, сосланные царём поляки после Польского восстания. Редко добирались до наших мест царские власти: то дорогой помрут, то людишки лихие порешат и прикажут долго жить. Один Куппер со своей бандой был и закон, и судья.

Всё поменялось, когда царский конвой доставил царского политзаключённого Кюхельбекера Вильгельма Карловича. Этот ссыльный каторжанин был другом А. С. Пушкина по лицу. Местные звали его Карловичем. Не в один день, но за очень короткое время Вильгельм Карлович

навёл порядок на фактории. Справедливость была восстановлена. Куппер схватил награбленное и скрылся. По таёжным тропам ушёл в Китай. Душ он загубил много. Когда приехали царские жандармы, его уже было не догнать.

А Кюхельбекер отстроил в селении Баргузин листвяжный дом, народ ему помог в строительстве (ныне действующий музей), наладил свой быт и стал помогать людям, так как все сплошь были неграмотные. Шли люди к Карлычу за советом: кому прошение написать, кому спор по закону рассудить,—любили у нас его за справедливость.

Шли годы... После десяти лет проживания в Баргузине Кюхельбекера перевели в Тобольск. Провожая его, народ плакал—уж такой был хороший и справедливый человек Карлыч.

И снова шли годы. Гремели где-то революции, и вот явилась она—советская власть. С неё и наступил рассвет в нашей глухомани.

Первое, что сделала советская власть,—она приступила к строительству нашего Усть-Баргузинского рыбзавода. И вот в 1926 году наш завод был запущен в работу. Одновременно были организованы леспромхоз, зверосовхоз, построили большую трёхэтажную школу, вечернюю школу. Каждый год, что грибы в лесу, строились больница, ясли, детсады, Дворец культуры, пожарная часть, гостиница, организовывались рыбоохрана, милиция и многое другое. Всё это построила советская власть.

Моя бабушка, Иванова Антонида Ареферевна, 1899 года рождения, сказала как-то мне, своему внуку:

—Как хорошо мы стали жить, умирать не хочется.

Дожила она до развала Советского Союза и в 1993 году, умирая, подозвала меня к себе, перекрестила и сказала:

—Как вы теперь жить будете?

Спасибо великому создателю природы и Богу. Спасибо, что дал нам Байкал. Бабушка Байкал прокормил нас, детей его. Выжили в девяностых годах и дальше живём. Спасибо тем людям, первым строителям Усть-Баргузина, за всё, спасибо, мои земляки.

Оренбургский пуховый платок

*А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из её щенков.*

С. А. Есенин

И всё-таки она решилась... Решилась ехать, не зная пути, направления, расстояния. Ей ни разу не приходилось за её долгую жизнь ездить на поезде.

Она слышала от соседки-хохлушки, что это долго и скучно—ехать на Украину много суток, да ещё с пересадкой в Москве. Но ей ехать ближе, в Нерюнгри, это там, где добывают алмазы. Это Якутия, думала она, успокаивая свой страх. Она прикидывала своим ещё не застаревшим умом: сначала до Улан-Удэ, потом на железнодорожный вокзал в кассу, ну а дальше люди подскажут—мир не без добрых людей. А трое ли суток ехать ей, мучилась в сомнениях она. С Нерюнгри ей добраться до посёлка Чульман, там улица Комсомольская, общежитие. Двадцать лет назад как оттуда была последняя весточка—от сына Николая. Прислал в первый год, как завербовался на Север, два письма: алмазы буду добывать, мама! Так с той поры ничего—ни письма, ни открытки.

Одноклассница старшего сына, когда приезжала погостить у родителей, Анна Роева, говорила ей:—Тётя Маша, посёлок Чульман недалеко от нас, мы живём в Нерюнгри, а на автобусе час езды от автовокзала до Чульмана. Мы когда с мужем ездили торговать по округе, видели вашего Колю. Он был в Нерюнгри на вокзале, живой, здоровый,—и засмеялась...

Это потом односельчане ей рассказали, как Анна в магазине знакомым рассказывала, как встретила Колю-бomba: «Ой, не поверите, чуть не родила—Колю увидела. Не узнала даже: с бородой, в телогрейке, ватники на нём, всё замусолоно, грязный, а воняет от него за версту,—ужасно. Сидит у крыльца вокзала с красным баяном и играет прохожим. Шапка лежит перед ним, в неё мелочь кидают люди. Вот как алмазы добывает Колька».

...Она была права: Колька давным-давно нигде не работал. С прииска его уволили на первом году работы. Несколько лет он всё устраивался до работы, но его хватало после устройства до первой полочки или аванса. Из общаги попросили—пил и буянил в угаре, семья давно у Кольки развалилась, да и не было семьи, просто сожительнице надоел он, неудачник, и она ушла к другому. Хорошо, что не было детей, не надо платить на содержание их. А тут ещё грянула перестройка со своим консенсусом.

Баян Колькин с утра звучит хрипло, кое-где фальшивит. Играет что-то, чаще «Полонез Огинского»—но всё это вяло, разбито. Колька от злости кричит:

—Подайте на чуток, расшевелю огонёк.

Некоторые люди кидают в Колькину шапку мелочь—наверное, знают его давно и знают, что надо Маэстро. Некоторые в укор говорят Кольке:—Работать не пробовал?—на что Колька отвечает:—Я по законам Божиим живу, птичкой летаю, зёрнышко клюю, как она, не сею, а только лишь пою,—и в сердцах добавляет:—Лучше пить водку, чем кровь трудового народа.

Через некоторое время возле голяшки его сапога оказываются чекушка, пластмассовый стаканчик и корочка чёрного хлеба...

И действительно, музыка полилась на голову разинувших рот прохожих, музыка с вариациями, плавно переходящая в душевное попури. Баян уже не шепелявил, выговаривал каждую нотку, паузу, нюансы. Люди останавливались, слушали, кто-то подпевал, у кого-то поднималось настроение, а один мужчина, услышав «Славянку», начинал маршировать на месте—наверное, был когда-то военным.

Колькина игра уносила людей от житейских трудностей, проблем, неустроенности и скоротечности самой жизни. Музыка уносила людей в мир гармонии, чистоты—уносился туда и Колька.

А ранней весной, когда ещё стояли якутские морозы, Анна со своим мужем приехали на своём грузовике-автолавке поторговать у железнодорожного вокзала. Не беда, что товар китайский, зато продаётся влёт, а мужу это сильно нравится, он даже уволился с основной работы, стал крутым коммерсантом. На производстве денег таких не платят, да и зарплату по полгода задерживают.

Муж был рад, торговля сразу пошла на вокзале хорошо. Он давал Анне советы, чтобы она улыбалась всем, была вежлива, сам пересчитывал деньги и легко умножал в уме. Анну, как только они подъехали, заинтересовала музыка, доносившаяся с той стороны железнодорожного вокзала. Какая-то знакомая мелодия, из далёкого прошлого. Муж заметил, что женустораживает музыка. Он одёрнул её злобно:

—Ты торговать приехала или на бичей внимание обращать? Пока деньга валит, работай шустрее, ворон считать не надо!

Выразив своё недовольство, он скривил лицо. Анна думала: не бьёт, не пьёт, не курит, а что деньги у него в одном кулаке и имеет он к ним любовь патологическую, так и она не лыком шита, всё равно деньжонок у него тихо позаимствует, и он не узрит своим всевидящим оком.

Когда после обеда торговля стала затихать и всё реже, реже стали брать товар, муж сказал:—Поедем на заправку, надо «коня» нашего заправить.

Анна попросилась у мужа остаться на вокзале, походить по ларькам, посмотреть цены—муж

согласился. Когда он уехал, Анна подошла к незнакомцу, который играл на баяне.

...Под незнакомцем был раскладной замусоленный стульчик, и сам незнакомец был не от мира сего: с проседью, неопрятно грязная борода, а шапка с накиданной мелочью лежала возле него. Лысина этого бедолаги была серого цвета, в коростах, свисали пряди-сосульки давно не мытых волос. Уэтого человека были впалые щёки и кривой в переносице нос. Когда Анна посмотрела незнакомцу в глаза, её что-то кольнуло в сердце—голубые, как ягода голубица у них на Байкале, что-то из прошлого, уже так далёкого... Но она не узнала Колю.

Она слушала игру этого бедолаги, хотела кинуть в его замусоленную шапочку рубль, но раздумала—деньги ей самой ой как нужны.

Но незнакомец её понял мысленно, повернулся к ней, остановил свою игру на баяне. От испуга она не сразу пришла в себя.
— Здравствуй, Аня!

Она ещё долго смотрела на незнакомца, пытаясь в нём определить знакомого или хоть раз пересекавшегося с ней,—сердце ничего не подсказывало ей.

— А... вы кто?—спросила она, но вдруг ноги её подкосились, и закружилась голова.

Только когда увидела его глаза и то, что оставалось в его голосе, она поняла, что это Коля.

— Да, Аня, это я!

И она вдруг выпалила:

— А тебя потеряли. Тебя, Коля, лет двадцать родные ищут.

— Ну и что? Нужен я им?

— Да как ты смеешь, Коля?! Брат твой, сестра, мать, отец—все по тебе извелись, даже в передачу «Жди меня» письмо отправляли, в прокуратуру обращались, но про тебя ни слуху ни духу.

— Нужен я им,—сказал он, отвернувшись в сторону.

...Они молчали... Казалось, меж ними проплыли картины: их детство, юность, первая любовь, расставание и Колькин призыв в армию.

Колька попал служить в морфлот на три года, на атомную подводную лодку—акустиком. Анна, конечно, не дождалась. Через два года она встретила на танцах у них в дк ловкого северянина. Она сдалась, повелась, как щука на блесну, прямо на отцовской лавочке, после танцев. Николаю ещё писала, но когда живот невозможно было скрыть, попросила мать обо всём написать Николаю.

Колька не хотел вспоминать, как руки его тряслись, тошнота постоянно стояла у горла. Он днями не выходил из отсека своей пеленговой станции.

Лишь командир сказал ему тогда:

— Держись, мы подводники.

Боль ещё долго жила в нём, но это уже он стоял над болью.

А детство их было безоблачно. Они жили рядом, по соседству. Вместе учились, вместе ходили в музыкальную школу. Николай учился по классу баяна, а Анна—по классу фортепьяно.

Весёлые были времена. Анне хватило учёбы на полгода. «Медведь на ухо наступил,—так говорил Иннокентий, отец Анны.—Пусть носки на рыбалку вяжет—и то польза». Пианино он продавал два года. «Ух и дорогушая,—говорил он.—Одних дров две поленицы нарубишь в аккурат. Да дочка одна—что не купишь ради единственного ребёнка?»

А Колька закончил музыкалку с отличием, получил диплом об окончании детской музыкальной школы, и его путь лежал прямо в музучилище. Колькин педагог гордился Колькой, уж такое способное было юное дарование к игре, что учитель Иванов А. П. уделял Кольке больше времени, чем другим ученикам.

...Но армия испортила всё. Не ожидал Николай, что так много изменится в его судьбе.

Да, было и их с Анной время. Колька вечером с баяном выходил на свою лавочку отцовского дома, садился, расправлял меха баяна «Восток» и начинал концерт по заявкам собравшихся вокруг него молодых и старых односельчан.

Музыка плыла над белыми шапками высоких гор—гольцов, над гладью за день успокоившегося Байкала. Радостно подпевал Колькин друг—собака Кучум, как будто он тоже был ас в человеческой музыке. Но всем было так хорошо, что не хотелось расходиться до самого утра.

Что уж говорить, Колька играл и по нотам, и по слуху, и на подбор старинных каторжанских песен. Свадьбы, именины, проводы не проходили без Николая и его баяна.

— Ты, Коля, матери почему не пишешь?—спросила Анна, вырвав его из далёких воспоминаний.

— А что писать? Всё по-старому... Бомж я,—со злостью сказал он.—Живу в тёплом коллекторе, с женой давно как расстались, да и не жена она мне была, а сожительница. После тебя, Анна, так никого и не полюбил. Конечно, может, и ищут меня родные, да дежурный мент забрал паспорт, на него третий год работаю. По двести рублей отдаю каждый день—принеси и отдай этой государственной морде, а то из коллектора вышибут, и пойдёшь по «обезьянникам». Вот такая жизнь, Аня.

— Но, Коля, можно куда-нибудь пожаловаться?—сказала Анна.

— Нет, исключено. Всё повязано у них, крыша чем выше, тем больше денег снизу берёт. Так что за кусок хлеба им спасибо, да ещё двоих ко мне в коллектор приютили—металл им рыщут и сдают, деньги, конечно, отстёгивают, а так бы не выжили в эти якутские холода.

— Коля, я вот подсчитала, ты двадцать шесть лет не был дома. Ты где был?

Колька молчал...

— У тебя, Коля, отец семь лет как помер, а мать глазами мается, всё на тракт ходит, автобусы встречает с города.

Колька налил в пластмассовый стаканчик водки, приподнял его, чуть плеснул на землю за помин души родителя—и разом влил его себе в рот.

— Водочка тебя довела до такой жизни, Коля,— сказала Анна.— Посмотри на кого ты похож. А я любила тебя одного!

Он посмотрел на неё... В его голубых глазах мелькнуло что-то из прежней жизни и из прошлого; он тихо сказал:

— Я рад за тебя, Аня, мне теперь и умереть не страшно.

Он отвернулся, взял на колени баян и тихо заиграл «У беды глаза зелёные». Она постояла возле него, дорогого ей когда-то человека, но краем глаза увидела, как подъехала их машина-автолавка с всевидящим мужем. Анна подумала: надо молчать, себе дороже будет.

...А мать собралась. Первое, что она сделала,— это доковыляла, опираясь на кривую палку, до автостанции. Совсем проще было расспросить кассиршу, куда ей надо. Она купила билеты на завтра, записала всё на бумажке, которую она завернула в платочек. Завтра автобус, потом железнодорожный вокзал, билеты и на него она купила, вагон номер шесть Москва—Нерюнгри, и ждать недолго, в девятнадцать ноль-ноль отходит, она везде успевает. Мать не мучили уже вопросы и неизвестности—она завтра поедет к сыночку.

А сентябрь на Байкале—заиграл. Закипели краски над хрустальной водой. Черёмуха стала красная своими листьями, плоды же её ягод налились и глянцево-чернотой отражали всю спелость.

Небо вдруг стало синим-синим, и короткая байкальская волна тихонько лизала песчаный плёс. Стояло бабье лето. Не было даже ветерка. Осмелевшие мушки и стрекозы садились смело на воду, где их поджидала рыба. Можно было видеть большие круги от довольно крупной рыбы. Вечера тоже в эти дни стояли тихие. Только иногда на ближних болотах раздавалась оружейная канонада—это местные мужики открыли сезон охоты на утку.

Она собиралась в дорогу. Маленький чемоданчик, с которым ещё покойный муж ездил в командировки,—положила туда немудрёные свои одежды: жакет, халат, тапочки, запасной гребешок. Всё не могла определиться с узелочком, в котором лежали деньги. Но выручила соседка-хохлушка. Разделив сумму денег на три части, она сказала: — Вот так, милая, будет лучше!

Часть денег она положила ей в кошелек, часть засунула матери в бюстгальтер, а часть уложила на дно чемоданчика.

— Вот так, хай чё украдут, а чё и останется!

Она рассказала матери, как мужа своего на Украину погостить отправляла:

— Ну, туда-сюда деньжонок ему спрятала, а часть—к трусам карман пришила, и денюжку туда. А уж утром проснулись, он в впопыхах да на скорую руку трусы не надел даже, так дома и остались они с деньгами возле кровати. Проспали мы всё, конечно, но на автобус успели. Вдруг на другой день телеграмма: «Вышли денег сию в Улан-Удэ». Ой, мама, стала я добро разбирать, а трусы-то его с деньгами за кроватью в пыли лежат, вот смеху-то было, всё время вспоминали, молодыми были,—и смеялась она весело и заразительно.

А мать вспоминала своего доброго, любимого мужа. Прожили они более пятидесяти лет, да болезнь эта пристала к нему. То ли от переживания за младшего сына, болезнь совсем не поддавалась лечению. А когда умирал, только и сказал: «Кольку я не увижу, вы не обижайте его». Сказал и помер.

Когда он умер, кажется, и она умерла... Боль не покидала её, только старшие дети и внуки держали её на этом белом свете.

...А рассвет наступил. Он пришёл на землю, как тысячи и миллионы лет назад. Наверное, на земле нет ничего такого же постоянного, как рассвет и материнское чувство настоящей любви к своим детям.

Цокая палочкой о твёрдую дорогу, она доковыляла до автостанции. Чемоданчик и узелок мешали ей идти, но какая бы ни была трудная дорога, её мысль была сильнее: ей надо увидеть сына. А вот и автостанция, вот и народ, всё как-то веселее сердцу. Добрые люди уступили ей переднее место, а водитель автобуса, весёлый, приветливый паренёк, сказал ей:

— Бабушка, если почувствуете себя плохо, скажите мне, я остановлюсь, передохнём чутка.

Ей стало так тепло на душе, что она готова была терпеть любые дорожные муки.

...А Колька пил. Он давно бросил вызов этому всемогущему богу Дионису... Душевные и физические его силы были на исходе. Всё пожирал всемогущий Дионис. Его бойцы—алкоголь и забытьё—уравняли даже ночь и день, всё смешав в крутящемся аду. Он видел, как у озера с прозрачной водкой сидели люди: профессора, генералы, врачи, студенты, женщины и мужчины, молодые и пожилые. Но никто не хотел уходить от этого озера, всем было легко и весело на том берегу... Колька проснулся и закричал:

— Нет!—но удушье коллектора и жажда выпить одержали верх.

Трясущейся рукой нащупав в кармане телогрейки чекушку, он жадно выпил из неё, что оставалась, и эта спасительная влага привела его в чувство и возвратила в реальность.

Уже прошло два года, как видел он Анну. Муки стыда и совести улеглись и сгорели в его одинокой

душе. Всесильный Дионис сжигал память, отправлял его по дороге забвенья, и уже с трудом он помнил, что есть где-то мать, брат, сестра, родственники и сослуживцы. Один только мент каждый день выгонял его и двух бомжей на работу, увеличивал сумму сборов.

За эти одинокие годы у Кольки в коллекторе появились ещё два жильца. Конечно, с разрешения главного мента по вокзалу. Задачу им поставили простую: собирать металл, банки алюминиевые, стеклотару, деньги отдавать главному менту, — план был щадящий. За это — жизнь в коллекторе и прикрытие. Паспорта у них тоже забрал главный мент.

Колькины жильцы-напарники были такие же бездомные бедолаги.

Первым в Колькин коллектор как-то осенью пришёл старый Колькин знакомый по кличке Циклоп. Так его уже лет десять звали, с тех пор как он потерял один глаз. Как в жизни не упустить удачу? Толик Скосыров знал, как её потерять. Зубной врач-протезист, всегда был врачом — золотые руки. Работа после института шла хорошо и успешно. Семья, жена-врач, хороший заработок, квартира... Но всё это разом рухнуло. В ресторане, где Толик Скосыров загулял, произошла драка. Кто Толику ткнул в глаз вилкой, теперь и не найдёшь. Да глаз к утру вытек. Когда Толик очнулся наутро, глаз пришлось удалять. Работал и дальше, но чуткий клиент меньше стал доверять одноглазому зубнику. Жене дали повышение — она стала сторониться Толика. Решил сам открыть свою зубную клинику. Нашлись и здание, и оборудование, цены наполовину ниже, но жена почему-то подала на развод, она сразу стала заведующей клиникой. Тут Толик и отдался зелёному змию. За аренду платить нечем, продал свою однокомнатную, хотел уехать к родителям, но деньги быстро кончились. Тут он и вспомнил про Колю-Маэстро. Пришёл к Кольке в коллектор, мент дал добро, прибавил к плану добычу металла.

Третий друг совсем случайно попал к ним. В сорокаградусный якутский мороз, отработав на вокзале, они шли в свой «номер». Уже подходя к коллектору, Колька запнулся обо что-то, это что-то замычало. Раскопали снег — человек. Молодой парнишка, беспробудно пьян и скоро заснёт навечно.

Скорее его в коллектор, оттереть руки, ноги, спирту не пожалели — человек же. Тут врач Циклоп применил все свои навыки, с достоинством отдаваясь клятве Гиппократа. Паренька спасли. Когда расспросили... На вокзале с молодыми девицами пил в ресторане, а дальше не помнит ничего. Нет денег, паспорта, билета до Москвы, чудом сам остался жив. Что делать? Пошли к старшему менту. Тот рассудил по-своему:

— Пока ищем паспорт и девиц, поживи с ребятами в коллекторе, поработай, как они, а весной поедешь до своей Москвы.

Конечно, Колька всё понял: девиц мент хорошо знал, извечные друзья работают вместе. План, конечно, повысили, но дали тележку на одном колесе — собирать и свозить стеклотару в вагончик, где была договорённость. Молодому дали кличку, а вернее, мент сказал: позывной — Клёпа. Над Клёпой взяли шефство его спасители. Водку парню пить слишком не давали, неумерен был их младший товарищ, терял рассудок, если выпивал не в меру.

Жизнь их походила на один день. Играет Колька на баяне, друзья в стороне сидят на кукурках (как говорят в народе), смотрят, сколько в шапку набросали; скорей бы набралось на похмелку — да по местам, по мýсоркам. Вот и набралось на пол-литра спирта, жизнь веселей пойдёт.

Только выпили — разыгрался Колька, вдруг подходят их покровители, два дежурных милиционера. Они берут Кольку под руки, берут его стульчик и баян, повели к себе в здание вокзала, в свой кабинет. Привели Кольку в кабинет, посадили на стул как путного, уважаемого человека.

— Слушай, Маэстро, — начал тот, которому платил уже который год дань Колька. — Ты домой хочешь? — Хочу, но паспорта моя у вас, — сказал в ответ Колька.

— А на тот свет хочешь? — продолжил старший мент. — Кто тебя, бедолагу, искать будет?

Он ехидно улыбался так, когда принимал от Кольки деньги. Помолчав, он продолжил:

— Вот, Маэстро, тебе партийное задание: у цыган мы конфисковали, — он опять хитро засиял в своей улыбке, вспоминая приятное ему, — тридцать оренбургских пуховых платков. Твоя задача — сбить их торгашам, ты с ними знаком, да и торгаши тебя знают. Но цена их немалая — пять штук за платок, а денежки мне лично. Свободу себе выкупишь, это мы тебе обещаем. Обманешь — закопаем, и глубоко-глубоко, никто не найдёт. Ты понял, Маэстро? За много лет ты надёжно себя зарекомендовал. Не стучишь, не жалуешься, как некоторые. Меня скоро переведут отсюда, лейтенанта дают, ну а кто придёт другой сюда — по-своему рулить вами будет. Так что поторопись — и домой отвалишь, сам в поезд посажу. Только сначала дело. Не будет дела — другой по башке тебя бить будет, — закончил он речь. — Ты хоть знаешь, что такое настоящий оренбургский пуховый платок?

Он снял с руки обрубчатое кольцо, вынул из пакета белый, чуть изжелта, лёгкий и пушистый платок, просунул один конец платка в кольцо, и лёгким движением руки платок продёрнулся через кольцо.

— Вот, Маэстро, это настоящий оренбургский пуховый платок, — он отсчитал из пакета пять платков, завернул их в серую почтовую бумагу, сунул Кольке за пазуху и сказал: — Это первая твоя партия, головой отвечаешь, сучара.

Колька шёл к себе в коллектор, держа под мышкой пакет, в одной руке баян, а в другой стульчик. Только одна мысль ныла в его мозгу: куда спрятать пакет? Нести в коллектор — нельзя, эти черти украдут и не поморщатся, а отвечать ему. Наконец он нашёл оторванный конец утеплителя от изоляции теплотрассы рядом с коллектором. Колька сунул под этот оторванный утеплитель пакет подальше, заткнул дыру стекловатой: было незаметно и почти рядом. Колька постоял, запоминая место, и со спокойной душой пошёл в коллектор.

...А мать ехала. Добрые люди помогли ей сесть в поезд, но билету найти своё место. Вагон был плацкартный, люди все добрые, улыбались ей, суетились, раскладывая и рассовывая по полкам свои вещи. И тут, вдалеке от дома, есть тоже хорошие, добрые люди. Молодой юноша, которого звали Паша, охотно уступил бабушке нижнюю полку, бегал ей за чаем и каждый раз спрашивал: — Бабушка, вы говорите: чем вам помочь?

А ей и так было хорошо, внимание к ней окружающих так было приятно, она так давно не была счастливой. Она сидела у окна на нижней полке, смотрела на пробегающие огни, полустанки, жёлтые убранные поля, мосты и мостики. Всё она это видела в первый раз за свою жизнь и так же знакомую как, наверное, по всей России. Её спрашивали соседи, она отвечала: к сыну, в Нерюнгри, — и объясняла: он там работает бурильщиком, но на каком месте, она не знает. Молодые супруги, которые ехали по распределению института, долго перечисляли буровые и разрезы местной добычи, но она так и не могла вспомнить и лгала, что он встретит.

Ночь для неё прошла так быстро, что ей показалось: она задремала всего на пять минут, а вот уже и рассвет в окне. Три дня в поезде ей показались совсем не утомительными, а интересными. Проводница объявляла станции, остановки, люди заходили, выходили, устраивались на свои места, поезд каждый раз плавно выдвигался в дальнейший путь.

Мать спросила у проводницы время прибытия в Нерюнгри. Проводница успокоила её:

— Бабушка, я вам сообщу и подниму заранее, помогу вам во всём. А в Нерюнгри мы будем в девять часов утра по местному времени, — и добавила: — Утро — удобное время для приезжающих. — Вот и Нерюнгри, — проводница, как и обещала, предупредила её.

Наконец после недолгих сборов она стояла в тамбуре в ожидании, когда остановится поезд. Опустив лестницу, проводница предварительно обтёрла боковые ручки заранее заготовленной тряпкой.

— Вот, бабуля, вы и приехали! Я помогу вам спуститься вниз на платформу.

Всё это время мать думала о сыне. Она не могла представить его: уж сколько прошло времени,

всё детский образ маячил перед её старческими глазами, но сыну теперь сорок восемь.

Она ступила на платформу... Лучи утреннего осеннего солнца пробивали вокзальную мглу. Люди спешили, проходя и пробегая мимо неё, все спешили к пришедшему поезду. Мать сразу почувствовала гарь и дым, запах креозота, пирогов и картошки, вокзального духа; ей захотелось поскорее куда-нибудь сесть, перевести дух, который так дурманил с непривычки её седую голову.

Она добралась, опираясь так же на свою кривую палку, неся в другой руке чемоданчик и узелок, до ближайшей скамейки и села, чтобы перевести дух. Понемногу приходя в себя, она смотрела на спящих по разным делам людей, и в эту минуту ей хотелось встретить знакомых, она почувствовала этот незнакомый большой и безразличный к ней мир.

Может быть, она посидела бы на скамеечке и дольше, но звуки баяна, доносящиеся с той стороны вокзала, насторожили её. Мать тяжело встала со скамейки и, ковыляя с чемоданчиком и узелком, побрела на другую сторону длинного вокзала. Она шла на звуки музыки, которая ей показалась знакомой и родной, как будто из прошлого. Хоть краешком глаза увидеть ей: кто там играет? Кто там до боли знакомую музыку играет, как её Колька? Толпа, окружившая играющего, не давала ей увидеть, кто там. Она долго стояла возле толпы, слушала знакомую музыку, мелодию, в которой её сердце возвращалось в прошлую жизнь.

Вдруг несколько человек отделились от этой толпы, и она увидела человека, сидящего на раскладном стульчике, с красным баяном. Он не был похож на её Николая, но что-то родное угадывало её сердце. Мать подошла ещё ближе, и её подслеповатые глаза увидели, то, отчего заняло материнское сердце: сын!

А Колька ничего не видел: он упал на бок вместе со стульчиком и баяном. Мать подошла ещё ближе к лежащему на асфальте сыну, опустилась на колени, взяв его грязные заскорузлые руки, причитая, начала их целовать:

— Сыночка, родненький, да как же это так?

Колька спал, водка опять свалила его, где пришлось. Он вообще был далёк от этого мира. Его борода, засаленные брюки и полбутылки какой-то жидкости в кармане представляли весь его мир.

...А мимо шли люди, кто-то смеялся над старухой, кто-то удивлялся, что она целует руки бомжу, да ещё омывает их своими горькими слезами. Некоторые прохожие в недоумении грустно смотрели: что бы это значило? Но самое «чувствительное» — пинали Кольку и прицепившуюся к нему старуху: расселись тут на проходе!

Вокзал жил своей жизнью, тут приезжали, прощались, уезжали все земные существа — люди.

Мать с большим усилием—ей помогла пьяная якутка—оттащила Кольку к ближайшему дереву, где они прислонили его спиной к этому старому тололю, пыталась привести Кольку в чувство. Но вдруг сзади послышались маты и ругань—это Циклоп и Клёпа возвращались с очередной добычи металла.

— Вот Маэстро расписался! Наверное, денежек тю-тю? Женится, что ли, на этой старухе? Смотри, как она его гладит?—злился недовольный молодой Клёпа.

Они с Циклопом залились похжим на визг собаки смехом.

— Нет, хлопцы, я его мать,—ответила старушка.

Циклоп и Клёпа, стараясь не материться, бросились к Кольке Они стали его тормошить, обливая из пластиковой бутылки водой, звучно били по щекам, приговаривая:

— Маэстро, Маэстро, мать твоя приехала!

Они долго возились с Колькой, пока тот не открыл глаза. Он долго приходил в себя, смотрел то на старуху, то на Клёпу и Циклопа, пьяная якутка тянула его за рукав, он крутил своей головой, не понимая, что от него хотят. Грязной своей рукою он вытащил из кармана плоскую чекушку, выпил из неё три глотка и передал якутке.

Минут через пять Колька заорал:

— Мама, мама, мама, ты зачем приехала сюда?

Но мать бросилась к нему, уцепившись двумя руками за шею, целовала, прижимала к себе своё дитя, она плакала и рыдала всем материнским своим сердцем, она шептала что-то, упоминая Богородицу и всех святых. Колька твердил ей на все её причитания:

— Мама, мама, зачем ты приехала? Я бич, я божж—не человек. Люди отбросом и падалью нас называют. А грехов на мне нет, и три года на подлолке, я старшина первой статьи, гидроакустик. Но, мама! У меня нет жилья, нет зубной щётки, нет рулона туалетной бумаги, нет паспорта. Живу я в тепловом коллекторе, скоро и оттуда менты вышвырнут. Зачем я вам?

— Сыночка,—говорила в ответ она,—да разве матери родное дитя в тягость? Сердце изболелось за тебя, родненький. Ведь всё за длинную ночь передумаешь! Да столько слёз и дум за ночь! А теперь я рада: ты живой...

Она плакала, вытирая платочком ручьём текущие по дряблым щекам слёзы. Колька не смотрел на неё, он смотрел в землю. Циклоп вежливо обратился к старушке:

— Пойдёмте, мамаша, на лавочку, вот есть свободная,—Циклоп вдруг стал интеллигентным и галантным, друзья его таким никогда не видели.— Вы, наверное, устали с дороги?

Циклоп поддерживал мать, нёс её вещи, Кольку вёл под руку Клёпа. Они доплелись до свободной лавочки, усадили мать, а Циклоп сказал:

— Пойду принесу горячего чая и что-нибудь поесте.

Честно сказать, даже друзья не знали, где он всё возьмёт.

А вокзал так же гудел. По радио объявляли о вновь прибывших поездах. В конце диктор добавлял: «Будьте осторожны!»

Они сидели на лавочке, Колька только и спросил:

— Как здоровье, мама?—но, даже не дождавшись ответа, сорвался с лавочки, крикнул:— Я сейчас, мигом...

Он возвратился ровно через пять минут, держа в руках свёрток.

— Это, мама, тебе от меня, бессовестного сына!

Она трясущимися руками стала разворачивать свёрток, из которого показался оренбургский пуховый платок. Мать развернула платок, сложила его вдвое, примерила платок себе на голову и сказала:

— Спасибо, сыночка, за подарок. Видно, ты не забыл мать, и сердце твоё ждало меня.

Она снова заплакала, утирая концом подаренного платка потёкшие, как ручейки, из её глаз слёзы.

Колька сидел, опустив свою голову, смотрел в чёрную землю, вытоптанную возле лавочки. О чём он думал, никто и не знает теперь.

А вокзал жил своей вокзальной жизнью. Снова объявляли о проходящих поездах, напоминали о ручной клади. «Будьте осторожны!»—объявлял в конце диктор.

...Колька встал со скамейки, упал матери в ноги, обхватив их обеими руками, целовал материнские морщинистые руки и бормотал:

— Прости, мама, прости за всё, мама! Прости...

Циклоп и Клёпа так ничего и не поняли, хотя и находились рядом. Лишь глуховатая и слеповатая мать гладила сына по голове: она была счастлива—она нашла живого сына.

Он вдруг отпрянул от матери, сказал:

— Прости!—и побежал от них в ту сторону, где шёл и гремел грузовой состав.— Я сейчас.

...Он успел. Два последних вагона... вытянув вперёд руки и, оттолкнувшись от земли, прыгнул вперёд. Его грудная клетка точно угодила на блестящий рельс, он опередил бег колеса, успел мыслью подумать: вот и всё.

Они ждали его. Но кто-то там, у вагонов на дальних путях, заорал:

— Человека зарезал поезд!!!

Завизжали женские голоса, путейские бригады поспешили на место трагедии. Народ скакал через рельсы и платформы, спешил увидеть покойника. Кто-то узнал Кольку... Колька лежал на спине, разделённый поездом на две половины, но лицо и голубые глаза были открыты и смотрели в синее вечное небо.

— Да это бомж, баянист с вокзала! — сказал кто-то из толпы.

— Отмучился бедолага.

Подъехала скорая помощь.

— Бомж, бомж, хе-хе, набухался, берегов не видел...

Женщина в белом халате посмотрела на язы-кастого мудреца:

— Нет, это человек. Жаль, что болезнь их делает такими... Когда же прозреют люди? Да и всё ваше благополучие?

Осеннее солнце клонилось к закату. Кончался короткий сентябрьский день, один из многих дней земли.

Вечерние лучи светили, ещё — грели людей, землю и всё-всё, что находилось на этой маленькой песчинке большого космоса. Перед долгой, холодной якутской зимой солнце отдавало своё тепло всем людям поровну: и матери, дождавшейся своего сына Кольку, и Циклопу и Клёпе, которые сидели рядом на лавочке, и всем, кто находился на этом нерюнгринском вокзале. Только для солнца они были дети земли — маленькие, беззащитные, неразумные дети.

По старинному рецепту

Хорошо в жизни проснуться на своей широкой двуспальной кровати, но это не полное счастье. Николай Иванович Омупев, проснувшись, сразу почувствовал недомогание. Нет, руки и ноги не ныли от застарелого ревматизма, а вот душа была наполнена тоской. Эта зелёная тоска не покидала его уже второй год.

Николай Иванович Омупев — учитель школы номер двадцать шесть, преподаёт он физику.

Николай Иванович посмотрел на спящую сладко жену; хорошо, сегодня воскресенье, можно выспаться и никуда не спешить. Всё надоело, думал он: тетради, оценки, лабораторные работы. А эти дети — шалуны и проказники — достали его так, что нет у него сил. Вчера они, чертенята, утворили такое!.. Пока его костюм висел на спинке стула за его преподавательским столом, какой-то ушлый малый написал на спине костюма: «Фантомас». Нет, он сдержал себя в руках, но какая благодарность за годы работы в школе! Он почистил костюм, но видел, как восьмиклассники смеются, пряча глаза от него. А ночью пришла эта хандра от обиды, переживания.

Николай Иванович когда-то заканчивал эту школу, и отношение к учителю его поколения было божественное. Учитель был небожитель, и казалось — нет авторитетнее человека, чем школьный учитель. И тогда он решил: буду учиться на учителя русского языка и литературы, — он страстно любил этот предмет. Но директор школы настоял: Коля, мы тебя направляем на физику, не хватает учителей-физиков. А литература, Коля, всегда с нами. Он согласился, не хотел покидать свой

родной край: Байкал, речку, эти горы и леса, где он вырос; всё здесь было его — охота, рыбалка, гольцы и корабли. Он прыскал в Омске, где закончил пединститут, встретил и полубил девушку Олю, на втором курсе они уже поженились. Оля была математичка, и их путь лежал прямо в школу номер двадцать шесть, к Николаю домой; и вот они уже двадцать пять лет преподают.

А вставать с тёплой постели всё же пришлось. Накинув пижаму, он поскакал «коньком-горбунком» в заведение, что называют в народе «удобства во дворе». После долго фыркал, кричал, принимая душ в своей бане. Он мылся и брился с каким-то остервенением — всем врагам назло. Когда шёл снова в дом, заметил жёлтую листву, лежащую на дорожке, — всё, осень пришла. Он любил осень из-за того, что её любил А. С. Пушкин.

Он уже не думал о тоске, об обидах; он думал, как мало он ещё написал людям, как мало он помог своими стихами, их всего три, опубликованных в местной газете «Заводской гудок». Время ещё есть, и он потрудится на пенсии, а она не за горами.

И точно в душе проснулось что-то. Он быстро оделся в свой новый костюм, повязал галстук, взял кошелёк — он знал, как встретит эту красавицу-осень. Он стал читать вслух:

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

А. С. Пушкин, «Зимний вечер»

Николай Иванович шагал прямо по улице Энгельса Ф. — прямо в винно-водочный магазин. Ветер с Байкала обдувал его лысую, но умную голову, бросал в лицо жёлтые листья, глаза от которых защищали очки плюс три, а он, закутавшись в болоньевый плащ, шёл к цели. «Имею право...» — повторял он. В магазине народ длинной очередью стоял в винно-водочный отдел.

Человек ума всегда размышляет о многом; вот и Николай Иванович размышлял о многом... Он вдруг вспомнил повесть «Выстрел» из записок повестей покойного Ивана Петровича Белкина А. С. Пушкина и процитировал отрывок: «Принялся я было за неподслащённую наливку, но от неё болела у меня голова, да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницей с горя, то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде.

— Товарищ... Алло, товарищ... Что будете брать? — на Николая Иваныча смотрела сероглазая, в светлом халате и чепце, продавщица.

— Мужик, бери, не задерживай очередь!

Продавщица возмутилась:

— Ты, интеллигент в очках. Вам в аптеку надо, за касторкой...

Николай Иванович покраснел и от такого поворота своих мыслей выскочил из очереди прямо на крыльцо винно-водочного магазина.

Куда пойти?—встал вопрос перед ним; тоска опять распирала его. К Балабешкиным? Нет, там одно и то же: шахматы, разговоры о международном положении. Хозяин, как всегда, накурит—хоть топор вешай. Он, конечно, проиграет опять, а жена Балабешиха в честь победы мужа накроет стол. И, как обычно, подаст жареную рыбу, хотя знает: он любит мясо. Нет, не пойду... Зайти к другу, врачу Коневу? Он, конечно, посоветует, пить на ночь снотворное, больше гулять на свежем воздухе и позовёт на кухню. Он знает, что там, на кухне, за холодильником, бутылка водки, но в ней спирт—медицинский, чистый. Он нальёт по полстакана и скажет: «Давай как на фронте». Какой фронт? Пятьдесят лет как война кончилась. Нет, и к Коневу не пойду.

Он шел по прямой улице Энгельса Ф. навстречу осеннему ветру, но, дойдя до дома номер восемь, увидел старика, сидевшего на лавочке. Старик был в зимней шапке, в ватнике и в валенках. Николай Иванович даже обрадовался, когда подошёл ближе: перед ним сидел и курил «беломорину» Иван Павлович Аплеухин. Учитель физики постыдился своей мысли: он думал, что старик давно умер, а тот сидел, курил—живой. Они с минуту помолчали, присматриваясь.

—Здравствуйте, дедушка!—подойдя к деду, громче поприветствовал Николай Иванович.

—Чего разорался, Николка?—ответил дед.—Сопли-то подобрал?

—Да какие сопли? Мне уже пятьдесят...—отвечал Николка.

—Да,—сказал дед,—помню, как ты, сопливый и кудрявый, с рогаткой тут бегал. Воробьи, ласточки, кедровки твои мишени были, варнаком ты был. А теперь кто?

—Учитель физики.

—Знать, хорошо тебе отец ремня вкладывал, большим человеком стал, детей учишь?

—Да,—согласился Николай Иванович.—А вам сколько лет?

—На Покров девяносто семь будет.

—Летят года,—посоветовал Николай Иванович.

Дед добавил:

—Душа всегда молода. Вот бабка моя смолоду табак не переносит и курить меня на улицу на лавочку гонит—говорит, всю хату задымил.

—А вы бросьте,—ляпнул физик.

—Ну и дурак ты, Никола. А же не помню, когда не курил. В семь лет на рыбалке начал. Да и сам посуды: какая радость у меня в жизни? К земле готовлюсь... Два века не проживёшь, как и два костюма в гроб не наденешь. Живи и радуйся, что день прожил хорошо. Каких я только не видел на своём веку: и богатых, и властью наделённых, и жадных, и счастливых,—все там, и никто обратно не возвращается за своим добром. Наверное, там хорошо?

Они снова помолчали... Николай Иванович робко спросил:

—А что делать, если тоска заела, житья не даёт?—Тоска?...—посмотрел в землю дед.—Тоску лечить надо, как наш купец Куппер Зенон Альфредович лечил,—постоянно. Вот послушай: жил у нас здесь до революции купец, то ли немец, то ли еврей. Скупал он у охотников соболька нашего баргузинского, золотишко скупал по артелям. Много он бед тут перенёс. Жена у него с любовником убежала, грабили его лихие людишки, дом сгорел. Дак вот, у него был то ли ямщик, то ли кучер, заодно он и приказчик—Гришка Чащин, тот знал, как барина лечить. Бывало, придет Куппер, лица на нём нет, все дела плохо. Гришка, говорит ласково, полечи. Ложится на лавку, снимает рубаху. А Гришка принесёт тальниковых прутьев—и по спине его крест-накрест, раз двадцать или пятьдесят. Всё, скажет Куппер—и как новенький снова за сободем, за золотом. Пару раз в год он себя так лечил. Вот как бывает!

Выслушав рассказ деда под завывания байкальского ветра, Николай Иванович сказал:

—Но это когда было? Нынче медицина сильна. Да и как мне, учителю, на лавке лежать и принимать добровольно побои?

—Дурак ты, Николка... Болезнь, она никого не спрашивает—ни царей, ни князей, ни учителей, и меня, старика, не спросит.

—А вы меня полечили бы тайно?—тихо спросил Николай Иванович.

—А чё не полечить? Старуха у меня глухая, баня вон во дворе, и прутьев я на корзинки как раз наготовил. Только ты мне, Николка, если лечение поможет, чекушку водки обещаю.

—Обещаю,—сказал учитель,—только молчи и помоги.

Они поднялись с лавочки и пошли под ручку в баню. В бане было холодно, но стояла широкая лавка, бак с водой, пахло берёзой и мылом.

—Но я тебя, голубок, привяжу к лавке, уж силёнок у меня маловато. Ты лавку выдвинь на середину баньки, разболокайся по пояс, а я верёвку принесу.

Николай-физик молча подчинился бывалому человеку. Шаркая валенками по банному полу, дед принёс верёвку и пучок тальниковых прутьев. Николай улыбался, это таинство для него было новым и неизведанным. А дед вязать умел. Наконец он взял прут, помочил его в баке с водой, пару раз взвизгнул прутом в воздухе и приложился со всего размаха к розовой спине солидного человека в очках.

—Мама,—едва успел сказать тот, как второй удар вырвал газы из круглых ягодиц пациента.

—Вот она, окаянная тоска, нашла выход из твоего нутра, хворь выходит,—сказал дед и участил удары по спине прутом.

—Ма... ма... ма...—орал пациент.

Ягода Малина

— Терпи, Николка, газы пускай, мы её в двадцать пять ударов выьем! Терпи, казак, атаманом будешь.

— Караул... помогите, люди... — ревел Николай Иванович.

— Ори, ори, я тебе говорил, старуха у меня глухая.

Вдруг откуда-то взялось у школьного учителя в голове — он стал читать «Отче наш», старика называл владыкой, и вся жизнь его прошла от лукавого.

— Двадцать пять, — сказал старик. — Перекурим? — Отче, прости, прости за всё, хворь вышла, спаси и сохрани, помилуй, — физик плакал.

Его лысая голова дрожала, лоб бился о скамью, очки валялись в стороне на полу.

— Ну-ну, Николка, вижу, что вышла хворь, ты полежи, подумай, поплачь — боле не буду хворь выгонять, — он стал медленно развязывать Николая Ивановича, приговаривая: — Но ты, Николка, не сердчай, сам же просил, я и старался.

Николай Иванович сел на лавку, спина его горела, будто леопарды и местные коты рвали её, крест-накрест красные полосы выпустили кровь. Дед вытер его спину чистой тряпкой и помазал раны какой-то мазью. Он хотел сначала разорвать деда, но внутренний голос и воспитание говорили ему: «Сам просил, сам просил». Одевшись, шатаясь, не сказав ни слова, он вышел, держась за штакетник, за ворота и глубоко вобрал в себя воздух. За наличником дедова дома от ветра где-то спрятался воробей, он кричал: «Чив-чив! Чив-чив!»

— Точно, — сказал пациент, — чуть жив, чуть жив.

Он почувствовал, как байкальский ветер пахнет чистым морозным бельём, солнце пробило утренний туман, белые буруны волн улеглись, а листву, которую гнал ветер, он давно хотел набрать жене на осенний гербарий. Он бросился подбирать жёлтые, красные листья, прохожие улыбались, а в нём рождались стихи...

Нам трудно жилось этим летом,

Нет в лете ни капли любви...

«Буду читать жене, пока она в постели. И всё хорошо, жизнь удалась, ребятишки — они шалуны всегда, у Балабешкина всё равно выиграю, съем всю жареную рыбу и похвалю хозяйку, Коневу скажу: давай, мой друг, за Победу! И выпью пол-стакана спирта». Он зашел в винно-водочный — очереди уже не было.

— Девушка, красавица, — он обратился к той же продавщице, — любимая, бутылочку коньяка!

Девушка расцвела в улыбке, подавая ему коньяк. — Вот видно сразу, что вы в настроении, — и добавила: — Не надо печалиться...

А Николай Иванович пошёл к деду. «Надо отблагодарить старика», — говорил он сам себе.

И до сих пор ходит — правда, теперь к сыну старика, тот тоже лечит от многих заболеваний.

Мы не знали ни его фамилию, ни имени, ни отчества. Его смерть собрала нас на кладбище, куда мы пришли проститься с ним. В жизни все звали его Ягода Малина.

Наш посёлок расположен у самого берега Байкала. С правой стороны посёлка протекает и впадает в Байкал река Баргузин. Наш посёлок так и называется — Усть-Баргузин. В посёлке проживает трудовой народ: рыбаки, лесорубы, работники Забайкальского национального парка и множество людей других профессий. Живём дружно, любим свой край, свою природу, Байкал и речку Баргузин. Домá у нас все добротные, свои участки, а самое главное в доме — это русская печь. Без печки у нас не проживёшь. Печка и тепло даёт, и хлеб печёт, одежду сушит, а в русской духовке и баню устроить можно. Топят у нас печи только дровами, добро тайга крутом. Не страшны ветра Байкала с русской печкой. Да только мастера, что раньше легко в два дня могли поставить русскую печь, перевелись... Кто умер, кто бросил это трудное ремесло, а кто и подался в другие края.

«В наш атомный век, когда космические корабли бороздят Большой театр», остался один на десять тысяч населения мастер — печник Ягода Малина. Может, полупроводниковый робот под компьютерную программу и мастерит русские печи, но у нас пока таких нет. Так что Ягода Малина на весь посёлок один печник.

Я помню, ещё наши певцы не были народными, как у нашего магазина, что звали мы «дежуркой», люди хвалили печника Ягodu Малину.

— Вот сложил мне печь Ягода Малина, двадцать лет как не нарадуюсь, — говорила одна.

А другой добавлял:

— А мне тридцать лет назад сложил русскую печь, дак мы на неё молимся. Дров уходит мало, стряпает, печёт, а колодцы всего через два года почистим, и всё... Дай Бог здоровья Ягоде Малине.

...Когда это было?

Давно, ответил я сам себе, глядя на пожилого сухожилистого мастера. Ягода Малина всё работал, каждый день. В подмастерьях у него внук, которого он ласково называет Сергуньком. Каждый день у Ягоды Малины заказы. Там надо печь поставить, там свод у печи заменить — всем помочь надо, впереди зима. Сергуньку лет семнадцать на вид. Он подаёт кирпич, месит глину, устанавливает отвесы и уровни, вникает в ремесло деда. Дед же ради внука старается, чтобы профессия не ушла из рода, есть кому передать мастерство. Да и так помочь внуку деньгами — иномарку Сергунчик хочет купить. Вот дед и поможет. Настоящий дед — Ягода Малина.

Если посмотреть на Ягodu Малину в профиль и анфас — можно смело сказать: сибирский крепыш. Среднего роста, нос картошкой, руки жилистые,

как будто синие реки бежали через них в кирпич, и казалось, что он не ощущал веса кирпича или привык к нему за годы работы. Лысый, серые добрые глаза и постоянная «беломорина» в углу небольших губ. Папироска даже не дымилась, но в чём-то помогала ему при работе. Носил постоянно одну и ту же шапочку, что когда-то носил Мурзилка из журнала. И не дай Боже если он её, свою шапочку, где-то оставит — не будет ни работы, ни покоя. Голос у него был тихий, но понятен всем.

В этот осенний день глава нашего поселения Борис Николаевич Землехватов замучил свою служебную машину «Волгу», разыскивая печника Ягоду Малину. Наконец на улице Набережной, где Ягода Малина докладывал трубу у печи, глава Землехватов перекрестился и сказал:

— Слава Богу, нашёл я тебя, драгоценный ты наш Ягода Малина. Скорей слезай ко мне, разговор с тобой на миллион!

Ягода Малина собрал инструмент, стряхнул со штанов засохшую глину и подошёл к мэру нашего поселения.

— Послушай меня, дорогой! — обратился уважительно мэр. — Газета наша, «Гудок рыбзавода», приказала долго жить. Нет рыбзавода, растащили по гайкам, нет и денег, газету не на что содержать. Два года я бился там, наверху, чтобы копеечку нам выделили под новую газету, которая будет называться «Звон Баргузина». Ты понимаешь значение для нашей стремительной жизни? Да ещё ставку селькора выбил, нет, вырвал вот этими зубами.

Он показал Ягоде Малине свои вставные железные кривые зубы и замолк...

— А я тут при чём? — сказал, недопонимая, Ягода Малина.

— Ты помнишь старую рыбоохрану? Дом там хороший, листовяжный, но печи нет, растащили по кирпичику наши пролетарии. А я ещё в том году племянницу в резервное жильё пустил, а она и невестку туда, и внука, и сына с новой женой — вот услужил родне! Выручай! В ноги упаду, но за два дня печь должна стоять, чтобы селькора туда заселить, едет уже посмотреть жильё.

— А кирпич, глина, фурнитура? Надо, чтобы всё это было.

— За ночь всё там будет. Поехали, фундамент посмотришь.

И он увёз на «Волге» Ягоду Малину смотреть фундамент печи.

На следующий день Ягода Малина с Сергуньком, с инструментом, явились на объект для возведения печи. Сразу можно сказать: сам дом был хороший, листовяжный, пять комнат. Окна все целые, но не было печи и даже мусора от её разборки. В крыше и в потолке, где была труба, виднелось осеннее дождливое небо. Мэр сдержал своё слово. Стопкой лежали новые кирпичи, корыто для глины, сама глина целой кучей лежала во дворе. Фурнитура,

плита, уголок и проволока лежали в доме. Вопросов не было, дед с внуком приступили к работе. Через полчаса мэр Землехватов привёз в дом селькора Болобонова Владимира Меркулеевича. Селькор осмотрел дом, огород, принадлежащий этой усадьбе, одобрительно пожал руку нашему главе поселения и сказал:

— Надеюсь, печь дня через два будет готова? Я пока без семьи, так проживу, поработаю над первым тиражом нашей новой газеты.

Он взял с собой ноутбук и удалился в дальнюю комнату работать или колдовать.

А Ягода Малина с внучком поднял (сложил) уже печь по пояс.

Через час, как только уехал мэр, Болобонов вышел из дальней комнаты с душистой сигаретой. — Перекурю, — сказал он и стал смотреть, как проворно Ягода Малина мастерит печь.

— Хорошо, — сказал он и скоро ушёл к себе в дальнюю комнату.

Через десять минут он вышел, на этот раз с ноутбуком в руках.

— Молодой человек, — сказал он, обращаясь к Ягоде Малине, — а где у вас перемычки?

Ягода Малина посмотрел на него, улыбнулся, непонимающе заморгал серыми глазами, переспросил:

— Какие перемычки? Тут никаких перемычек нет. Тут топка — жар будет.

Селькор опять удалился в дальнюю комнату. Но не прошло и пяти минут, как селькор выскочил с ноутбуком в руках прямо на корыто, где Ягода Малина набирал глину в ведро.

— Но вот технология. Покажи мне, товарищ, где ты скобки крепёжные ввернул?

Ягода Малина всё ещё улыбался.

— Да какие скобы? Пятьдесят лет изготавливаю печи — первый раз слышу! Вот доложу до плиты, там заведу под верх проволоку-шестёрку. Это чтобы дверцу закрепить.

Но Болобонов совсем не собирался униматься. — Интересно, тут надо штырями на гайку тянуть, а он мне халтуру лепит, не знает: все технологии — в Интернете... — и он поднёс к глазам старика свой ноутбук. — Смотри, темнила, как и что прописано!

Ягода Малина изменился в лице, видно было, как желваки заиграли на его скулах.

— Слушай, ты, профессор, меня Николаевич попросил сложить печь — сложу, затоплю, а ты потом разбирай свои технологии, что и как!

Но селькор не унимался. Он принёс свой мобильный телефон и, сверкая фотовспышкой стал снимать всё: печь, колодцы, глину, кирпич, Ягоду Малину и Сергунька.

— Слушай, ты, человек, дай работать! Или иди на хутор, бабочек лови! — не выдержал печник.

Селькор взревел:

— Деньги за халтуру взял вперёд?

— Какие деньги? — переспросил Ягода Малина.

Он всё понял. Собрал не торопясь инструмент, очистил свои широкие штаны от глины, смачно плюнул, выругался матом, и они с Сергуньком ушли домой, оставив печь сложенной до плиты.

Не стоило обманывать честного человека, как Ягода Малина. Глава поселения мэр Землехвостов через пять минут приехал на своей служебной «Волге».

— Ягода Малина, я вас умоляю, сложите печь, ради будущего нашего посёлка!

— Что? — спросил Ягода Малина. — Какие ты мне деньги заплатил, что твой спецкор или селькор стыдили меня на старости лет?

Мэр засмутился, отводя глаза в сторону, и сказал:

— Работа моя такая — желаемое выдавать за действительное. Уйду я в охранники, мамой клянусь.

Ягода Малина плюнул в его сторону и сказал: — Пока не наворуешься, никуда ты не уйдёшь. Вспомни, как ты рвался в мэры, сколько добра народу обещал, а на деле всё на себя, на родню свою. Сам и ложи печи вместе с товарищем своим по рыбалке. Ты мужик, и селькор мужик, по компьютеру мастерите печь, технологию он всю знает.

Повернулся и ушёл домой, заложив на засов свои ворота.

Порой у нас на Байкале бывает так тихо: нет ветерка, воздух недвижим, в это затишье падает снег. Снежинки большие плавно кружат, приближаясь к земле. И может даже показаться, как одна говорит другой: «Давай, подружка, посмотрим, как поживает селькор?» И видят они, как два мужика в белых рубахах, в глине, в пыли кирпичной, второй месяц мастерят печь русскую. Буржуйка у них топится, труба выведена в окно. Под столом и на столе пустых бутылок множество. Печь довели до потолка, но пришлось доской снаружи обшить; валится кирпич и глина не держит: решили изнутри каркас шить, тоже из доски, а когда затопят, дерево сгорит, кирпич останется, это всё внесли в технологию. А через неделю дом бывшей рыбоохраны сгорел. Два друга, мэр и селькор, затопили своё творение. Да так их печь разгорелась, что один сказал: «Домна!» — другой сказал: «Мартен!» И оба выскочили, забыв ноутбук, прямо в окошко, вынесли на плечах старинную раму.

Столетний листяк горел, как порох. Пожарная машина была без колёс, экипаж пожарников ловил налима на реке. Хорошо, что поблизости не было жилого строения. Люди сбежались смотреть на красивое жаркое пламя. А кто-то смотрел, как мэр бил селькора. Потом селькор бил мэра. Из всего люди поняли: это два друга готовили туристический домик для приезжающих к нам на Байкал иностранцев. Русская печь обрушила весь бизнес-план. Кто кому должен, приятели решают в Бурятском республиканском суде, а рыбоохрана

требует с них материальный ущерб в долларах — они тоже решили заняться бизнесом.

Золотых рук мастер к весне заболел, и в марте мне сказали, что Ягода Малина умер. Я пошёл проводить его в последний путь. На кладбище, когда работники закапывали могилу, я кинул тоже горсть нашей байкальской земли и отошёл в сторону, к плачущей старушке.

— А вы не знаете, почему его звали Ягода Малина?

Она вытерла слёзы с глубоких морщин и улыбнулась мне:

— До войны это было. Пошли мы в лес за дикой малиной. Нас ребяташек пятнадцать было. Пришли мы к малине, а Александр первый раздвинул малинник руками — а там медведь ест малину прямо с листвой и ветвями. Смотрят они друг на друга. Медведь здоровенный, под два метра. Санька, царствие ему небесное, как закричит на медведя, как заматерится: «Ты что, косолапый, нашу малину жрёшь?! Или у тебя деток нету и сладенького они не хотят?» — и по-матерному на него. Соскочил медведь на все лапы, развернулся и побежал от нас. Тогда мы только перевели дух. А кто-то сказал: «Ай да Ягода Малина! Да тебя медведи боятся». Так и стали звать его — Ягода Малина.

Я посмотрел на крест, на табличку, покрашенную серебряной краской: «Иванов Александр Иванович. 02.09.1929–15.03.2016 г. 87 лет от роду». А мы всё — Ягода Малина.

Джамайка

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулёвая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Молодцу плыть недалечко.

Может, кто и знает, что в этой застольной песне баргузин — это ветер, но мало кто знает, в какие часы и в каком направлении он дует.

Витька Толстиков — парень с нашей улицы Энгельса посёлка Усть-Баргузин. И Витька, и я, и все жители нашего посёлка знают: баргузин — это ветер, а иначе мы его называем верховик, и дует он с Баргузинской долины, с верховья реки Баргузин, от её истока. Верховик начинает дуть с четырёх часов утра с нарастающей силой и к шести утра перестает дуть. За эти два часа ветер сбивает байкальскую волну, которая за всё остальное время катит свою могучую воду прямо в лопатки (место впадения реки в Байкал, или устье).

Предки наши, чтобы выйти в Байкал, ждали этого ветра, чтобы на парусе, а не на вёслах, добраться до сетей или отправиться в плавание.

Поэтому посёлок Усть, река Баргузин. И узник бежал с Читинского острога. Чтобы его не догнала стража, он угадал или знал баргузинский ветер, это ему помогло оторваться от горной стражи.

Витька Толстиков десятый год капитанит. После восьмого класса Витька один поехал в город Красноярск, поступил учиться в Красноярское речное училище, окончил его, проработал где-то на севере реки Енисей и, уже с беременной женой Валей, домой приехал опытным рулевым мотористом. Корень Толстиковых у нас в Усть-Баргузине многочислен. Братьев и сестёр не пересчитать. Взялись они всей роднёй и с Троицы по Покров выстроили Витьке дом. Места у нас много, леса тоже, и место нашлось на нашей улице Энгельса Ф.

Витька—капитан самоходной плоскодонной баржи СП-8. Наш Госпар-порт приписки—город Иркутск, порт Байкал. Витькина баржа ходит только по реке Баргузин вверх, где раскинулись на протяжении трёхсот километров населённые пункты Адамово, Зорино, Баргузин (райцентр) и множество других мелких деревень. Баржа самоходная, пятьдесят тонн водоизмещением, да и навигация у нас по реке с девятого мая по седьмое ноября, остальное время речку сковывает лёд. Байкал ещё катит свои осенние трёхметровые волны, но они разбиваются в лопатках реки, сам же Байкал закуётся во льды на Крещение, к девятнадцатому января.

Витька—крепкий, высокий и красивый парень. Он носит капитанскую фуражку с плетёной золотой кокардой, чёрный китель с золотыми шевронами на рукавах, пуговицы блестят, есть петли под погоны, но Виктор говорит, что на барже это лишнее. Вся его форма только добавляет Витьке красоты. Волнистый чуб из-под фуражки, умные глаза, чуть бритые бакенбарды, строгие скулы— всё напоминает мне героя-подводника из фильма «Командир счастливой „Щуки“».

В навигации работы много. Надо успеть всё завезти по деревням. Обратно из деревень вывезти скот на Усть-Баргузинский мясокомбинат, что стоит на берегу реки. День-два на зачистку трюмов—и снова в рейс. На мостике в рубке Виктор строг, он смотрит вдаль, отыскивая очередную вешку фарватера или бакен в ночи; работа ответственная, опасная, но любимая для Виктора. Команда его— вместе с ним три человека. Матрос первого класса Фабузин Макар, Витькин одноклассник, шкипер Бадмаев Церен Аргалович, бурят, пенсионер с опытом ещё с войны—дружная команда.— Зорино... Приготовиться подать швартовы справа!

Много чего в Зорино надо выгрузить на склад, запасы сделать на зиму. А пока грузчики выгружают, Аргалович ведёт бухгалтерию. Они с Макаром посмотрят двигатель, масло дольют, насосом воду из отсеков качнут, да и ужин пора готовить.

Река Баргузин—с пологими, покрытыми лесами берегами. Кое-где по берегам встречаются поросшие травой тихие затоны. Иногда Витька прячет свою баржу в тихий и глубокий затон. Это бывает,

когда баржа СП-8 встречается поутру с ветром-верховиком, который начинает так сильно дуть, что гружёная баржа, поднимаясь вверх по течению, совсем замедляет ход. Вот тогда Виктор и заводит её в глубокий затон, чтобы переждать ветер. Зачем напрасно жечь солярку? Чем выше вверх по реке, тем быстрее её течение. За Зорино река показывает свой скрытый нрав. Вот уже видно, как вода помутнела, там и тут вокруг появляются водяные воронки-омуты от быстрого течения реки. Чаше плавится рыба: ленок, хариус, а в последние годы—сазан. Большие стаи уток, гусей и журавлей взмывают крыльями при приближении Витькиной самоходной баржи. Капитан знает; он держит в памяти все улочки реки и ветра, экипаж спокоен и на своих местах. Когда они собираются вместе, они шутят, без обид друг над другом.

— Витька—парень шустрый,—говорит шкипер Бадмаев. Говорит он это сквозь улыбку, чтобы слышали и Витька, и Фабузин.— Десять лет ходит по этой реке, и ребятишек—десять! Когда успевает, не пойму? А секрет простой,—продолжает он,—приходит Виктор с рейса и даёт последнюю команду: всем спать!

Смеётся сам, смеётся Фабузин, смеётся Витька: все знают, что скажет Бадмаев.

— Ну вот, а сосед его и говорит: всё. Я спрашиваю: что всё? А он мне: видишь, команда прозвучала— всем спать! Ставни днём закрыли—это значит, всё, у Витьки-капитана одиннадцатый будет. А я угнаться не могу, так ни одного.

Смеются ребята.

Продолжительность рейса—всего-то неделя. Но в этот раз рейс оказался наполовину короче. Пришли в Баргузин (это районный центр), разгрузились, всё по графику, подготовили трюмы под загрузку скота. Ждали день, ждали два, а скот не гонят! На дальних пастбищах скот. Ждать минимум неделю.

Виктор связался с портом по радию, начальство дало приказ: «Возвращаться в Госпар порожняком».

— Ну и хорошо,—сказал Бадмаев,—рыбу половим, утку постреляем.

— Нет,—сказал капитан,—день отдыха—и по новой в рейс.

Много ещё завезти груза надо, предупредило начальство. Через двое суток, уже когда было темно и фонари горели на бакенах, отмечая фарватер, Витькина баржа СП-8 причалила левым бортом к пирсу, увешанному автомобильными покрышками. Бадмаева оставили ночевать на барже, старик был одинок в жизни и никуда не спешил. Завтра снова загрузка—и в путь, опять по реке. Уже зажглись уличные фонари, чёрное небо было затянуто тучами, не было видно даже звёздочек. Виктор и матрос, одноклассник Фабузин, пошли по домам. Они прошли центральную улицу

Ленина, когда друг и напарник Фабузин попрощался и свернул на улицу Кирова, а Виктор—на Энгельса Ф. Их пути разошлись в разные стороны.

Идти недалеко от угла улицы до дома. Кое-где горели ещё не выбитые пацанами из рогаток фонари на электрических столбах. Но странно, дом Виктора был залит светом. Подходя к дому, Виктор замедлил свой шаг. Он размышлял: время одиннадцать вечера, ставни не закрыты, свет во всех комнатах, и музыка странная, и этот странный её припев: «Джамайка...» «Конечно, не ожидают хозяина, три дня ещё мне в рейсе быть». Витька прильнул к своему палисаднику и стал заглядывать: что же там происходит? Ничего невозможно увидеть ни в ограде, ни в доме, только это «Джамайка» доносилось из дома. Он перелез через палисадник, снял капитанскую фуражку и, как разведчик, одним глазом прильнул к нижнему окошку. Боже!!! Что он увидел, не забыть ему никогда. Его жена Валя сидела в зале за столом, который ломился от закусок, её обнимал молодой, в галстук, мужчина. Он обнимал Валю за плечи, что-то шептал на ушко, и Валя была этому рада. Она сама иногда склонялась к красавцу и ласково целовала его в щёку. Детей не было видно. «В баню к матери моей увела»,— подумал он. А на столе—шампанское, водка и даже его любимые рыжики, что старшие дети собирали отцу по просекам, пока он в рейсе.

Он отвернулся от окна, тихо сполз спиной, поранив её. Сел возле завалинки у окна на траву, уронив между колен капитанскую фуражку. Мозг его сверлило тупым сверлом. «Вот оно что, когда я в рейсе!!! Наверное, это давно продолжается, никого не боятся, и эта музыка—„Джамайка“». Он вцепился руками в траву, что росла возле завалинки, и начал мычать—от обиды полного крушения его внутреннего корабля. Он даже спросил кого-то внутри себя: «А мои ли это дети?» Внутренний огонь бушевал в его отсеках в самом сердце. Он думал... В летней кухне ружьё—тулка-двустволка, патроны в кладовке там же. Справа пули, картечь, слева дробь номер два. «Застрелю обоих. Главное, не тянуть и не распинаться перед ними,— думал он.—Но за двоих и мне расстрел. Что делать? Нет, ей я скажу: „Всё на твоей совести, живи“, его—сразу дуплетом в сердце». Что будет с детьми, когда его посадят? Разве одной поднять такую ораву? А сколько будет разговоров: он рогоносец, да ещё и уголовник.

«Простить? Уйти, скрыться? На той стороне реки в рыбацких сараях есть удочки и соль. Меня никто не видел, и я вроде ничего не знаю». Он почему-то вспомнил то лето. Они стояли в Баргузине под загрузкой на своей СП-8. Бадмаев как-то один ящик «Солнцедара» превратил в «бой», который списали принимающие. Да, тогда гулянка была у них всю ночь на барже. Откуда-то взялись две

женщины, которые были не прочь выпить. А он, капитан, потом кричал в пьяном виде: «Я первый, я капитан». И где он только с ними не побывал—и в кубрике, и на корме, и в трюме. Высадили баб в Зорино. После он целый месяц избегал Валентину. Прикинулся больным, а сам прятал от неё глаза. Забыл всё быстро? Да нет, вот Боженька наказал его за измену. И он заплакал. От своей мерзости в прошлом и от горя от увиденного, как Валя с молодым. Он плакал и говорил себе: «Кобель ты, Толстиков, клялся в верности и любви перед Богом, вот тебе за твою измену—получай». Слёзы катились ручьём на лежащую между ног капитанскую фуражку, и как насмешка звучало: «Джамайка».

Вдруг скрипнула лалитка внутри палисадника, через которую закрывали ставни. Старший сын Виктора, десятилетний Генка, вбежал в палисадник, чтобы закрыть окна с улицы. Свет с просторных окон освещал отца, сидящего на траве, с ручьями слёз, текущих по небритому лицу. — Папка?—от неожиданности воскликнул сын. И, испугавшись добавил:—Ты плачешь?

Он сорвался с места, не закрыв окна, и через минуту было слышно, как по крыльцу бежит толпа—ребятишки, Валя, ещё кто-то. Валя упала на колени перед своим мужем, целовала его в курчавую голову и говорила:

— Витечка, родненький, что случилось? А к нам братишка мой приехал, мы же его с нашей свадьбы-то и не видели. Вырос братишка, инженер уже. А каких он нам подарков привёз! Вот платье на мне, а тебе спортивный костюм! Ребятишкам много чего...

Витя-капитан уткнулся в её тёплые ладошки, и ещё больше его одолели слёзы—то ли от радости, то ли от горечи.

— Ты прости меня, Валя! Прости ради Бога. Ради наших детей прости. Я больше не буду, поверь! — Что, Витя, не будешь? Может, что с кораблём? — Ой, Валюша, не буду...— но вовремя сообразил. — Не буду раньше времени приходить с рейса. Лучше рыбки на зиму половлю, уточек, гусей добуду. А я всё рвуся куда-то, чуть мимо дома в море не ушёл.

— Да ладно тебе, хоть совсем никуда не ходи, нашёл об чём расстраиваться,—она целовала его в обветренные губы.

Два письма солдата

Наша улица носит название «Энгельс Ф.». Почему так написано на всех домах на самодельных табличках, никто и не знает. Наверное, местный «художник» увековечил себя на многие времена. Все ребята, маленькие и чуть побольше, учатся в нашей большой и красивой трёхэтажной школе. Каждый из этих ребят мечтает после окончания школы кем-то стать. Выучиться на лётчика или врача, быть геологом или астрономом, стать

нужным своей большой и могучей стране. И когда все двери для детей Советского Союза открыты, выбирать свою профессию приходится задолго до окончания школы.

Колька Коровин, по кличке Корова, хотел быть только военным, не меньше чем генералом. Мечта его не угасала ни на один день. Он делал деревянные автоматы, копал в своём огороде землянки и блиндажи, рыл траншеи вдоль огородной межи, оборудовал командный пункт.

На зов матери:

— Коля, иди хоть чаю с молоком попей, — отвечал: — Сначала служба, а потом чай...

Приходили старшие ребята со службы, в отпуск или на дембель, — шапка набекрень, сапоги в гармошку, грудь в орденах. Колька долго ходил за дембелями, слушал их байки, геройские рассказы. Водку с ними не пил, он знал от отца, что водка мешает любой карьере. Колька также любил смотреть по телевизору программу «Служу Советскому Союзу». Если программа выпадала на школьный урок, Колька отпрашивался у учителя, и его отпускали.

Шло время... Колька закончил среднюю школу-десятилетку, но поступать никуда не стал.

— Сначала армия, — сказал он родителям и добавил: — Хороший генерал порохо сначала понохает, солдатскую лямку потянет, из солдатского котелка каши попробует.

Как ни уговаривали родители Кольку поступать в институт или в военное училище, он стоял на своём: в армию, и точка.

Пришла долгожданная осень. Жёлтая листва срывалась с тополей, потемнели воды Байкала. Наконец, когда поднялась на крыло северная утка и дикие гуси поднялись с весёлым гоготаньем с воды Байкала в тёплые страны, Кольке пришла повестка.

Повестка была из райвоенкомата и гласила, что он, Коровин Николай Родионович, призывается на срочную военную службу в ряды Советской армии. — Ура! — прокричал Колька и этот день гордо ходил по знакомым, показывая всем повестку; воин был готов к службе.

Родители у Николая были простые рабочие люди, они работали на местном рыбзаводе рабочими. Но, как уже повелось на Руси, проводы в армию — святое дело...

Лидия Петровна Коровина была круглолицая синеглазая женщина. Чёрные её волосы время чуть-чуть начало серебрить. Как у всех женщин, занимающихся физическим трудом, у неё были мощные руки, круглые плечи. Кольку она родила поздно, засиделась в девках.

Отец же был щуплый и длинный, как фитиль, но жилистый мужик. Звали его Родион Меркулеевич Коровин. Носил он постоянно усы и чем-то походил на А. М. Горького.

Колька лицом походил на мать, но усы стал опускать как отец; был жилист, высок и силен, природа была справедлива и дала ему лучшее от матери и отца.

Но вот накрыты столы... Промчалось время «наливай и угощай, родная мама». На проводы народу пришло много: одноклассники, друзья, родственники, а у Коровиных их было много. Самый близкий друг Толик Шалонин, по кличке Шалун, сидел рядом с Колькой и, как тамада, вёл застолье.

— Товарищи, выпьем за солдата!

— Друзья, повторим за защитника Отечества!

То и дело, что гостей не надо было слишком уговаривать. Толика призыв был как линия старта на беговой дорожке. Толик Шалун и сам хотел в армию, он ходил в военкомат и просил военкома призвать его на военную службу, но тот ему сказал, что на нём бронь, так как на рыбзаводе не хватает слесарей. Толик решил поговорить с начальником цеха, где он работал.

Наконец закричали:

— Скинемся солдату на дорожку!

И железные головастые рубли, зелёные трешки, синие пятёрки полетели в приготовленную посуду, которую после обноса передали Колькиной матери.

Курильщики выходили многократно. Все Кольку хлопали по плечу:

— Ты пиши, Коля, не забывай.

— Сразу напиши, как до места службы доведут.

Дед Андрон совсем опьянел, просит ребят податься: когда он служил в конной разведке, у них был такой обычай. Но старика увели снова за стол и объяснили: драку на свадьбе надо организовывать, а это проводы Коляна в армию. Песни пели разные: «Как родная меня мать провожала», «У солдата выходной», «Варяг», «Лучинушка» и так далее. Гуляли всю ночь...

Утром те, кто мог стоять, ползти и двигаться, пришли к военкомату, где был и сельсовет. Вот тут и полились материнские слёзы. Мать гладила Кольку по голове, прижимая к своему сердцу. Что-то говорила ему, но сын мычал только и давал матери целовать его.

— Становись! — прозвучала команда военкома. — Переключка, пять минут на прощание — и в путь.

Когда всех призванных завели, занесли, затянули в автобус, ещё громче запричитали матери. Водитель дал по газам, он был опытен в таких делах.

Вот и прошёл ровно месяц. От Кольки нет ничего, нет весточки для родителей — успокоить материнское сердце и думы в бессонные ночи.

Как-то под вечер зашёл к ним дед Андрон. Он потоптался у порога, попросил табурет, побряк-тел и начал:

— Сон, Лидушка, вчера видел, будто Колян ваш попал в нашу полковую конную разведку и коня

ему, ну в точь как мне, выдали, масть в яблоко, в двадцать шестом это было.

Лида грустно посмотрела на хитрого деда, она понимала, что деду надо. Молча пошла в кладовку, взяла там от проводин оставшуюся чекушку водки и отдала деду.

— Я знаю твою конную разведку, — сказала она. — Теперича коней в армии нет, ракеты, чай, в космос летают.

— Да, — сказал дед Андрон и, почёсывая затылок, удалился.

Наконец... Двадцать второго ноября Таня Глебская, что работала почтальоном на почте и разносила корреспонденцию по улице Энгельса Ф., принесла сразу два письма. Письма были без марок, с буквами «С/А». Одно письмо — Коровиным, другое — Толику Шалонину, Шалуну, который жил через дорогу наискосок.

Вот и матери глоток воздуха — весточка долгожданная от сына. Мать с волнением взяла долгожданное письмо, ещё раз прочла на конверте: «Коровиным Л. П. и Р. М.», с письмом в руках вошла в дом. В избу вошла, волнуясь, волнение не унять. Окликнула мужа:

— Родион, радость-то какая — письмо от Колюшки!

Родион за перегородкой перебирал и чинил сети. Он отложил в сторону сетевую иглу, откульжил полотно сетей, освобождая место, усадил супругу на табурет и сказал:

— Читай.

Жена вскрыла конверт и начала читать:

«Здравствуй, мой друг Толик!

В первых строках моего письма сообщаю: слава Богу, ещё не убили...»

Колькина мать грохнулась с табурета. Отец поднял её, молча накапал валерьянки.

— Читай дальше.

«В гробу я, Толян, видел эту заманиху. Ужасное мне пришлось испытать тут за месяц курса молодого бойца. Только посадили в поезд — началось... Прапорщик Ватюк и два с ним сержанта пьяные кричат нам: „Самцы, вешайтесь, служить с прапорщиком Ватюком — это не ши у мамки хлебать. Позолотите ручку, что мамки вам в трусы на дорогу зашили, я вас бесплатно кормить и поить буду, лучше, чем ваши мамки“. Пришлось доставать всем по пятёрке и отдавать прапорщику Ватюку. Обидно, что процедуру они эту делали через каждые два часа в течение двух суток, пока не прибыли в город Читу. В баню загнули, как баранов, там сосульки висят, вода холодная: за три минуты помыться, побриться — и в строй. И пошла, Толян, карусель.

Подъём, отбой — сорок пять секунд, раздеться и одеться. Упор лёжа принять, пятьдесят раз отжаться, и полоса препятствия каждый день. Кросс три километра каждую неделю, а строевая по шесть часов в день. Старшина орёт: „Ногу держать

двадцать сантиметров от земли!..“ Кошмар, ведь по телевизору такого не показывали».

Мать плакала, утирая слёзы кончиком платка, отец был чёрен в лице, как земля на дороге.

«Я совсем отошал, мозоли на ногах, завелись вши. Вчера после отбоя дембелям ставили концерт. „Танец маленьких лебедей“ мы исполнили в кальсонах, а „Во поле берёзка стояла“ исполняли с портянками вместо платочков. Горе тому, кто на гитаре играет и песни поёт, до утра дембеля не дают продыху. На политзанятиях замполит капитан Лабода, зверюга хитрющий, в середине занятия как заорёт: „Встать, кто спит!“ — сам понимаешь, вскочишь после таких ночей. И этот замполит даёт три наряда вне очереди на кухню картошку чистить, а там её три ванны надо начистить... На неделе мы хоронили бычок, который ротный нашел возле курилки. Копали яму два на три метра весь день. Принесли окурки на носилках и с почестями, салютом из лопат полдня закапывали бычок. Ужас, Толян, врёт наше телевиденье! Нет мочи у меня нести такую службу, а старшина Храпко говорит: „Шланг ты, Коровин, да не простой, а гофрированный. Человека из тебя не сделали, дак я из тебя солдата сделаю!“

Ты, Толян, послушай меня, в армию не рвись, коси под дурака, ссысь (энурез, говори); лучше женись на разведёнке, чтобы у неё двое детишек было — усыновишь; можно и в психушку, но этот вариант может отразиться на карьере, когда в депутаты пойдёшь. Я обо всём тут думал. Прощай, брателла. Увидимся ли?»

Мать Колькина ещё долго плакала у отца на руках и всё повторяла: «Увидимся ли?»

А вечером Толик Шалун пришёл с работы домой. Он заглянул в почтовый ящик и обнаружил письмо от друга Кольки Коровина, обрадовался, вошёл в дом и начал читать:

«Здравствуйте, мои горячо любимые родители! Низкий поклон вам, мои дорогие! Поклон земле Русской. Привет родному порогу, батюшке Байкалу тоже поклон низкий. Шлю вам весточку из далёких краёв Забайкалья. Вот я и солдат земли Русской — воин. Это письмо пишу на спине убитого мной в неравном бою диверсанта...»

Толик по своему воспитанию хотел прекратить чтение, он понял, что письмо адресовано родителям и надо бы отнести его к ним, но интерес и любопытство пересилили воспитание, он тоже хотел служить Родине.

«...Диверсанты прут, как тараканы из-под печки, но наша разведка работает на опережение. Немного о себе. В войска попал в очень-очень серьёзные — спецназ „Краповые котики“, одна элита. Но как говорится, тяжело в учении, да легко в бою. Учёба каждый день, в основном учимся поражать цели из-под воды в космическом пространстве, по одной интуиции наводящего. Сразу скажу, это

новая наука нашего вооружения. Изучаем приёмы рукопашного боя...»

Шалун подпрыгнул на подоконник, приняв стойку ниндзя.

«Укладка парашюта и акваланга в вещевой мешок доведена до совершенства. Отрабатываем удары ластами на отруб головы противнику с одного удара...»

Шалун всё больше округлял глаза.

«А больше ничего сообщить не могу, дал подписку. Скажу по секрету: скоро опять на задание. Может, орден дадут вашему сыну.

Кормят хорошо, как на курорте. На ночь дают стакан кефира, для мягкого стула. Вот и всё, что я вам скажу: есть профессия— Родину и ваш покой защищать. Целую всех, за газетами следите, если что, узнаете о награде. Письмо сожгите сразу и помалкивайте в кулачок. Шалуну привет, пусть займётся йогой и голоданием, пригодится в армии».

Шалун пал на пол, принял позу лотоса. Он твёрдо решил завтра идти к военкому, проситься в войска нашей Советской армии.

Наутро, двадцать третьего ноября, прохожие видели странную картину.

На крыльце поселкового военкомата, тут же находился поссовет, отставной майор, исполняя обязанности главного по сборам и отправке призывников, местный житель Корюкин М. И., был атакован жительницей Коровиной Л. П. С головы военкома была сбита шапка образца сорок третьего года и растоптана в блин. Кокарда офицера с а оторвана и брошена в канаву. Петлицы с танками

на серой шинели были тоже оторваны гражданкой Коровиной Л. П., а также оторван рукав у шинели, который свисал у локтя военкома. Со словами, переходящим в крик:

— Возвращай, паразит, сына,— Коровина Л. П. наносила удары штакетиной, которая была вырвана из палисадника поссовета. Военкома Корюкина М. И. прикрывал от ударов Толик Шалун, он пришёл проситься в армию. Отбивая удары, Толик кричал:

— Тётя Лида, что вы делаете? Вам гордиться сыном надо, его скоро наградят.

Чуть поодаль стоял Кольки Коровы отец, Родион, он был с ружьём—двустволкой тульского завода, он на всю улицу орал:

— Перестреляю, суки, не пожалею после...

Трудно представить, чем бы всё кончилось, но пока не начали стрелять, был по телефону срочно вызван участковый милиционер Копылов Александр Ильич. Хорошо, что был дома, а не на рыбалке. Участковый приходился племянником военкому, а также троюродным дядей Кольке Коровину— в общем, родня. Он развёл воюющие стороны, усадил их в поссовете и начал допрос. Когда он прочёл письмо Коровиных, он улыбнулся. Толик Шалун сбегал за своим письмом. Участковый прочёл и его. Он погрустнел и покачал головой. Дал Шалуну задание сжечь тут же письма в печке поссовета и вслух заключил:

— Два письма— один герой!

И велел расходиться по домам. Он закрыл это дело—родня всё же.